

Н и н к а

Нинкин муж был рецидивистом. То есть изредка приезжал на побывку к жене, потом совершал правонарушение и отправлялся восвояси.

Несмотря на краткость восхищений, он таки успел заделать трехпалую дочурку ангельской наружности. На трехпалость папаша не расстроился: Бога не помянул, но и пить не бросил, а только отметил: “Щипачом, увы, не будет...”

А дочка наотрез отказывалась выговаривать “эр”. В этом, видимо, сказывался ее подсознательный протест против квартирующего папаши: раз нет буквы “эр”, нет и “рецидивиста”. Сам же папаша мнил себя большим педагогом, считая, впрочем, само это слово ругательством.

— Скажи “эр”! — кричал он на девочку. — Скажи “эр”, сучья дочь!!

Детские плечики инстинктивно подымались — наверно, в надежде оградить перепонки от ненужных звуков, а изо рта лилось нечто жалобное, но не рычашее.

— Не “э-э-э”, сучья дочь, мать твою в псарню, а “р-р-р-э-э-э”!..

— “Э-э-э”, — пыталась дочурка и плакала.

— Не “э-э-э”, — папаша поднял девочку за плечи и встряхнул, — а “р-р-р-э-э-э”!!

Ребенок издал нечто близкое свисту и подавился икотой. С тех пор трудности возникли вообще со всем алфавитом — девочка стала заикаться...

Про это мне рассказала сама Нинка. Большая, чуть ли не под два метра, блондинистая, некрасивая, искренняя, — таковой она объявилась на нашем курсе. Оказалось, что ее оставили на второй год. Причем оставили по ее же собственной просьбе — она пришла в деканат и заявила:

— Вы зря меня перевели на следующий курс. Я такая тупая, что не уяснила программу.

Ее отговаривали, взывали к аргументам, говорили, что далеко не все усваивают курс в должной степени, и это, однако, не мешает скакать с курса на курс вплоть до диплома. Нинка на это только беспокоилась:

— Нельзя так, нечестно...

Выяснилось также, что Нинка училась в институте уже тот срок, за который студент, лишенный беспорядочности, давно получает диплом: она то оставалась на второй год, то брала “академический” по причине непродолжительной свободы мужа.

Нинка явилась для нас чем-то вроде экскурсовода. Она рассказывала про те темные времена, когда в институте еще возникали мордобойные недоразумения по национальному вопросу. Она была свидетелем нескольких белогорячных попыток суицида в общежитии, после которых лестничные пролет вокруг лифта заварили наконец страхо-

вочными сетками. Она даже знала, чья голова оставила ту или иную выбоину в стене, уверяя, что сама выбоина еще хранит запекшиеся остатки:

— Вот эта трещина, — говорила Нинка, указывая на глубокую вмятину в метре от плинтуса, — оставлена Вовкой Кирзаевым. Его поэтическая голова не выдержала недельного запоя и с разбегу направила себя в самый центр будущего отпечатка. — Она поковырялась в трещине и извлекла нечто, похожее на комок волос, склеенный то ли олифой, то ли мозговой жидкостью поэта Кирзаева.

Кроме того, Нинка знала, где поблещему во всех отношениях организму выгоднее сдавать бутылки и к какому преподавателю лучше напроситься на зачет. Короче, мы полюбили Нинку. А Нинка и без того всех любила...

Впрочем, мы забежали вперед. Для полноты картины надо отмотать несколько лет — к первому курсу. Помнится, шла пара старославянского. Преподаватель Вась-Вась Калугин, обладая незаурядным умом, наивно ожидал соответствующего уровня от каждого. Он не утруждал себя особой щепетильностью в разжевывании тех или иных нюансов и за одну лекцию нагрузил нас столь непосильной информацией, что даже прашуры наши удивились бы, наверно, обилию научности, скрытой в ихнем языке. Благо, старославянский я немного знал, а потому отставал от рассуждений Вась-Васи только страниц на десять-пятнадцать стандартного учебника. Большинство же вообще бросило конспектировать, поняв свою абсурдность затеи уразуметь зараз хотя бы одну из трех палатализаций. С перепугу у многих женщин начались месячные. Иные еще долго шарахались от слов “юс йотированный”...

После такой интенсивной лекции мои мозги взмолились об отдыхе. Еще меня мучил похмельный сушняк. Я зашел в столовку (в ней же находилось нечто вроде бара), взял два по сто пятьдесят «Столичной» и запить. Мысли покидали голову, просачивались в форточку и поднимались к облакам. Я глядел вслед уходящим идеям и завидовал их воспарению и скорой встречи с Богом. Только было немного стыдно за их пустоту и за их несоответствующую действительности тщеславность. И дабы снять эту неуютность, я взял еще сто пятьдесят, попутно поведав бармену о категорическом императиве:

— Все говорят — душа просит, а мне пред Богом стыдно. А когда полость залыешь — сам себе незаметнее становишься. И сразу несуразности меньше. Вот ты говоришь — совесть...

— Я говорю?..

— Ну не ты — они, — я указал на вывешенные портреты классиков русской литературы. — А что такое совесть? Это же категорический императив... Ты Канта читал?..

— Иди-иди, — заскучал бармен. — Тоже мне, императрический кооператив...

Мир несовершенен, подумал я. Прав Шопенгауэр, будь он трижды...

Зал пустовал. Из колонок исходило что-то негромкое и иностранное. В углу спала отнюдь не тощая кошка. Я взял пластиковый стакан и пошел к столику. И тут появилась она — Нинка. Точнее, сперва я увидел нечто большое в джинсах и тельнике, а лишь потом осознал женское по третьему размеру бюста.

— Привет! — улыбнулась она. — Первокурсник?

— Руслан меня зовут... Курю «Приму»... Женщину не познавал около месяца... На данный период читаю Евгения Шварца... А именно сейчас — пью водку. Потому что категорический императив и несовершенство мира...

— Достаточно. Подходит...

Мы взяли еще, сели за столик. Нинка поинтересовалась, почему я такой грустный?

— После старославянского, — отвечаю. — Представляешь, каково христианину узнать, что священное слово “Христос” начинается с буквы “хер”?..

Нинка рассказывала, как здорово в Литинституте, какие вокруг все выпивохи и таланты. Говорила, что учится и одновременно подрабатывает дворничихой. Причем метет те же самые дорожки, что некогда мел незабвенный Андрей Платонов. Повела также, что любит тяпнуть, особенно на лоне. От слова “лоно” я возбудился и полез целоваться. Потом закричал:

— Все на лоно!

— На лоно! — загорелась Нинка.

Бармен неожиданно поддержал нашу затею, подразумевая, что нам уже давно пора на природу, к матери, в лоно. Мы забрались в какой-то детсадик на Малой Бронной. По пути взяли что-то красное. Пили его прямо из горла.

— Ты любишь Тютчева? — спрашивала Нинка.

— Люблю, — соглашался я.

— Дай я поцелую... Подожди. А Ходасевича?

— Тоже люблю.

— Умница... Подожди. А Георгия Иванова?

— Позднего — люблю...

Потом, кажется, нас выгнала сторожиха. Тем более, что Нинка сломала качели, а я погнул грибок и упал в песочницу. Изгнанные из лона, мы направились в ЦДЛ. Но туда нас не пустили, интеллигентно указав на наше бесподобие.

— Пива — и в общагу, — предложил я.

Мы шли в обнимку, взаимно уравниваясь. По счастью, с блюстителями порядка нам суждено было разминуться. Вышли на Тверской бульвар, прошли «Макдоналдс», приблизились к Пушкину. Нинка пыталась принять позу, запечатленную скульптором Опекушиным. Я отговаривал:

— Брось, так и по трезвому не устоишь...

Тут к нам подскочили двое: одна — с микрофоном, другой — с камерой. Да так неожиданно, что я поперхнулся.

— Скажите, — зашебетала телевизионщица, — вы любите Пушкина?

— Не надо камеры! — встряла Нинка. — Мы имеет право расслабиться?..

Но профессионалка знала свое дело и без возмущения повторила вопрос.

— Люблю, — согласился я, откашлявшись.

— А за что?

Нинка уже тянула меня в сторону:

— Пойдем. А то покажут в рубрике...

— За то... — отчеканил я в расплывающееся пятно микрофона, — за то, что он “милость к падшим призывал”...

Мы с Нинкой удалились до «Ленсовета» и сели на “тройку”. В троллейбусе я неожиданно вздремнул, а проснулся с головной болью. Неотвратимо надвигались мысли насчет добавить. Пришлось зайти в винно-водочный на Руставели.

Добрались до общаги. Нинка жила этажом выше. Разобраться с водкой решили у меня. Нинка пошла к себе за закуской. Мысленно я заказал амброзию и что-нибудь маринованное. Когда мыл стаканы, ко мне подошел сильно подвыпивший Стасик.

Стасик был коренным сибиряком и обладал удивительной фамилией Яуя. Писал милые рассказы в духе Андерсена. Главными героями в них выступали форточки и дверные ручки.

— Руслан, — говорит Стасик, — объясни мне, вселенная конечна или бесконечна? Вот, допустим, она конечна...

— Стасик, — перебил я, — это известная антиномия Канта. Разрешить ее можно только при некоторых условных ограничениях. Был такой математик — Георг Кантор...

— Так Кант или Кантор?

— Кант сформулировал, Кантор разрешал.

— Руслан, не надо математики, там много переменных. Ты мне прямо скажи — мир конечен или нет?

Что я мог ответить?

— Стасик, — говорю, — мир, каков мы знаем, — это вообще наше представление. Сам по себе он не имеет протяженности.

— Как это?

— А вот так... Слушай, а что это тебя на такие вопросы тянет?

— Руслан, ты не поверишь. Как выпью — так сразу думать начинаю. Откуда это все безобразие взялось и имеет ли оно конец? И думаю до тех пор, пока не напьюсь до отключки.

— А вот теперь представь, что все разумное во вселенной напилось до отключки. Ну совершенно все. И отключка эта — вечная. Будет тогда безобразие?

— Ну это смотря с какой стороны посмотреть...

— Так некому смотреть. Все в отключке.

— Гм... Выходит, что и безобразия не будет.

— Вот в этом-то и все дело. Безобразие, протяженность, бесконечность и вообще размерность — это все наши выдумки. Говоря умным языком — категории. Априорные формы...

Стасик достал из кармана блокнот:

— Как ты говоришь? Категории?..

— Категории. А есть еще категорический императив...

— Тоже наша выдумка?

— Не совсем. Скажем так — онтологическая идея. Объективирующаяся в нашем сознании...

— Не спеши, я не успеваю записывать.

— И вот этот категорический императив — причина наших скорбей. Но он же — причина нашего творчества. Этакая сердоболинка.

Стасик закрыл блокнот и посмотрел на стаканы в моих руках:

— У тебя есть что-нибудь от этой сердоболинки?

— Не обижайся, — говорю, — я — с дамой. Так что разрешать эту онтологическую идею буду без тебя...

Нинка задерживалась. Я перевесил позапрошлый годний настенный календарь обратной стороной и вывел фломастером краткий лозунг. Надпись, декоративно украшенная тараканьими крапинками, призывала к приятным чудодетям: “Даешь оргазм!” То есть порыв к подвигу уже был, не было объекта его воплощения. И я начал волноваться. И в порыве волнения не заметил, как опустошил бутылку. Онтологическая идея была временно разрешена...

С похмелья особенно чутко понимаешь всю мучительность сознания. Невольно завидуешь неразумной сущности. Большая чувственность сосредотачивается в единство личности — личности жалкой и самоотвратительной. Изнемогающей от бременного организма и онтологической идеи...

Разбудила меня собственная икота. Новый день не предвещал ничего утешительного. На лекции идти не хотелось. Хотелось отрастить крылья и вознестись, опережая собственные стоны.

В дверь постучали.

— Открыто! — хотел отозваться я, но изо рта вышло нечто шипяще-клокочущее. Причем вся эта фонетика была заключена очередным иком: — И-и-ик...

Вошла Нинка. В руке она торжественно несла початую бутылку водки:

— На, похмелись. Я уже... А где она?

— Кто?

— Ну, с кем ты был.

Я не на шутку взволновался: с кем это я был?

— Во, и плакатик в тему, — указала Нинка на мой письменный призыв к приятностям.

— Подожди, Нин, а с кем... и-и-ик... я вчера был? Я что-то не припоминаю...

— А я почему знаю?.. Я шла к тебе, несла закуску. А тут твой однокурсник, Станислав. Не надо, говорит, Руслану мешать. Он — с женщиной. Они

разрешают категорические идеи и все такое. Ну я и не стала мешать. Пошла к Станиславу.

Ну, Стасик, — подумал я, — доброжелатель...

— Слушай, Нин... и-и-ик...

— Хватит икать!

— Сингультус, то есть икота по научному, — это такая чунгачанга, что по желанию не уймешь. И-и-ик... Разве что водкой залить можно.

Мы выпили. Вместе с бутылкой закончились и все мои судороги. Нужно было снова идти в магазин. Нинка предложила:

— Возьмем флакон и — на лоно. Вон там, метров двести, есть сквер и памятник голове.

— Какой голове? — не понял я.

— Никто не знает. Стоит постамент. На нем — голова. Ни те надписей, ни пояснений...

Впоследствии мы ходили к этому памятнику. Огромная безымянная голова алюминиевого цвета пребывала в скверике у вьетнамской общаги. Сперва мы думали, что голова символизирует собой Николая Островского. Этакое безглазье и зачесанные назад волосы — гильотинированный Павка Корчагин. Потом, однако, догадались: это был Киров, Сергей Миронович. Район-то — Кировский...

Тут явился Стасик собственной персоной и выразил желание сходить за водкой, если у кого обнаружатся средства. Я дал денег и ушел в душевую. Нинка за это время обещалась соорудить нечто насчет закуски.

Душевая находилась в подвале общежития. Раньше душевых было две — мужская и женская. Потом одна из них пришла в негодность, и мыться стали по очереди. Как раз день был мужской. Однако в раздевалке я обнаружил женскую одежду, включая все нижнее. Судя по комплектам и доносившимся из душевой голосам, женщин было не менее двух.

— Эй! — закричал я. — Сегодня же — мужской день.

Дверь душевой открылась и выпустила облако пара. Потом из него образовалась голова грузинки с третьего курса:

— Сэгодня — жэнский...

Кстати, про эту грузинку ходила байка. Она, студентка Литературного института, весьма плохо знала русский. И однажды на экзамене профессор Славецкий решил ей помочь — спрашивает: “Натэлла, ответ на какой вопрос вы лучше всего знаете?” — “Это сложный ва-апрос”, — невозмутимо ответила Натэлла...

— Послушай, какой жэнский, да? — передразнил я. — Сходи к вахтеру и посмотри графык, да. Сэгодня мужык должен быт чыстый, да.

— А подождать ты не можешь? — появилась другая голова славянской наружности.

— Извините, не могу — коллектив не простит. Так что я раздеваюсь и иду прямо в мою любимую третью кабинку. А за свои ежики в тумане можете не бояться — я сейчас индифферентен.

— А ты нас не изнасилуешь?

— Больше мне делать нечего, — говорю.

— А вот хамить необязательно! — сказала славянка и исчезла в облаке...

Водные процедуры пошли на пользу — я окончательно посвежел. Правда, в душевой меня искушали комары. Об этих паразитах ходили легенды. Поговаривали, что им не страшен никакой кипяток и ядохимикаты и что однажды от них пострадал драматург по фамилии Гольц. Мол, этот самый Гольц отмокал после продолжительного запоя и закемарил в позе роденовского «Мыслителя». Через час обескровленного и опухшего Гольца увезли на скорой. Больше его никто не видел. Хотя иные утверждали, что никакого драматурга по фамилии Гольц вообще не существовало в природе, а был поэт из Купишкиса. И не Гольц вовсе, а Кулекс Гнус. Другие утверждали, что «Кулекс Гнус» — это пьеса, написанная драматургом Гольцом и собирающая по сей день аншлаги в одном из провинциальных театров...

Вернулся я как раз вовремя. Закуска и водка были готовы. Предотвращая всякие “с легким паром”, я закричал:

— Наливайте, а то сумерки в голове!..

Оказалось, далеко не все пошли на лекции. Вскоре в мою комнату стало набиваться страждущее студенчество. Саша Лекух, прозаик из темного хутора дружественной нам Украины, принес кусок засоленного пороса. Сыктывкарский поэт Игорь Вавилов разыскал стулья. Пришлось еще раз два бегать за водкой. Попеременное тостирование сменилось хором. Каждый выбрал себе собеседника и делился переживаниями. Только Стасик обращался к чему-то абстрактному, запрокинув голову:

— Допустим, вселенная конечна...

— Не-е, Есенин мне не нравится, — говорил поэт-заумист Олег Ядыкин просто поэту Гене Юшкову. — Я вообще против балалаечницы в поэзии...

— Но если вселенная конечна, то за этим концом опять же что-то должно быть... — продолжал Стасик.

— Да ты пойми, — убеждал Игорь Вавилов Сашу Лекуху, — Пушкин и Лермонтов — это совершенно разные вещи. Пушкин — это попса, а Лермонтов — рок!..

— Не надо мне Есенина цитировать! Я его и так знаю. Ты лучше настоящих поэтов почитай — Борис Пастернак, Темичджан Мормыш-Ула...

— А имеет ли это нечто конец или не имеет?..

— А моя дочурка вот какое сочинение написала, — достает помятый листок Нинка, — слушайте: “У меня не один папа, а два. Первый папа меня очень любит. И я его очень люблю. Потому что его все уважают. Он любит маму, и часто дарит ей цветы. Он починил в нашем дворе качели, которые поломал Павлик. Он добрый. Когда мы ездили этим летом на юг, он занял первое место по шашкам. А еще он научил меня плавать... Другой папа меня не любит. И маму тоже не любит. Он злой, и я его боюсь. Когда он приходит, я ухожу в свою комнату и плачу. Вчера он кричал на маму и даже ударил ее. И мама всю ночь плакала на кухне... Не пей, папочка!..”

— Вавилов, ты наивен! Неужели ты думаешь, что можно провести точную границу между поэзией и прозой? Ну, допустим, “лучшие слова в лучшем порядке”. А в прозе — не так?..

— Поэзия везде, где есть внешнее усилие стиля.

— Значит, вселенная бесконечна...

— Не надо мне Есенина цитировать! Ты еще скажи, что Высоцкий — поэт... “Шура, поезжайте в Киев...”

— Что значит — внешнее усилие? Внешнее усилие — это в туалете.

— Сноб всегда считает себя просвещенным.

— Мальчики, не ссорьтесь!.. — вступалась Нинка.

— Но ничто не может быть бесконечным... — Стасик был возбужден и светился иконостасом.

Я откровенно загрустил. Литературоведения мне и на семинарах хватало, а от философии, того гляди, и так в запой уйду. Я загасил окурок и пошел в туалет. Писсуар своим видом говорил о возмутительности происходящего. На двери кабинки кто-то вывел каллиграфическим почерком:

*А в деревне Серево
есть большое дерево:
под ветвями — котяхи...
Все бы вам — “ха-ха, хи-хи...”*

Поистине, неистощима творческая сила. И неисчерпаемы причины, ее порождающие... А вообще, стены общественных туалетов уже давно стали напоминать мне самиздатовскую литературу. Та же безмеркантильность и тот же порыв к чистому искусству. Правда, тематика пока еще хромает...

Возвращаясь, я осознал, насколько пьян. Еще два-три тоста — и иссякну. Не заходя в комнату, я вызвал Нинку:

— Пойдем к тебе, — предлагаю.

— Зачем?

— Потискаемся.

— А как же остальные?

— А зачем мне сподвижники?..

Проснулся я уже за полночь. Кряхтя, доковылял до стола и надолго присосался к бутылке с водой. Казалось, кто-то скрутил мои мозги колючей проволокой. Меня трясло.

Нинка тоже не обрадовалась пробуждению. Жестом попросила воды.

Я оделся и пошел умыться — нужно было смыть с ресниц запекшиеся слезы. Были слышно, что во многих комнатах гуляют. Пора начинать соображать насчет подлечиться.

Возвращаясь, я остановился около лифта. Внезапно накатила невидимая волна, и все тело покрылось испариной. Невыносимо тошнило. И тут я отчетливо понял, что начинается “белочка”. Большой шар огненного цвета бесшумно лопнул возле глаз. Рядом двигалось что-то плавное с полотенцем на голове. “А вот сэгодня — точно жэнский дэнь”, — сказало оно. Где-то зазвонил будильник. По лестнице вверх пробежала кошка. Мне почему-то

подумалось, что она набожна. Затем с верхних этажей промаршировал строй трубочистов в мохнатых папахах из невинных барашков. Они пели какую-то бодрую песню на непонятном языке. Но смысл ее был ясен — за сложнейшими музыкальными интонациями проглядывалось хроническое неблагополучие.

Я сполз по стене на пол. Еще один огненный шар беззвучно разорвался перед носом. Что-то рановато “белочка” явилась, подумал я. Какие-то плоскогорья и вершины заслонили видимость. А потом все померкло...

Осознал я себя склоненным над эмалированной раковиной и умывающимся. Причем — в умывальной комнате другого этажа. Как я сюда добрался — выяснять не было сил. Меня стошнило бесцветной пеной. Снова окатило обильным потом. Я прильнул губами к крану и жадно пил. Вода по вкусу и запаху напоминала свинец.

“Белочка”, делирий, — думал я. Сантехник, сделавший эти краны, уже умер давно. Все мы смертны. “Прискорбна есть душа моя до смерти”. Тоска... Тоска багрянистая. В нечистом исподнем. Боже-Боже! взывает к Тебе душа пылающая, купинка неопалимая. Спаси меня от этого помрачения. От этих дней, сваливающихся на мою несчастную головушку. От этих коней бледных и акридов прожорливых. Забери меня, где живут лучшие ощущения, и я буду послушно сидеть на ковре, покуда не явится знамение...

Умывайся, Руслан Брюзжащий, умывайся. Мае-та мает, сказал Екклесиаст, все — маета. Почисть камзол и иди опохмеляться, покуда приступ не повторился. “Белочка” приходит с похмелья. Триллер... Откуда эти водоросли?.. Да всю голову — под струю. Не дай мозгам закипеть, водица студеная. Не дай уколупнуть меня горячке проклятой...

Холодная вода подействовала благоприятно — делирий отступил. Но я знал, что это ненадолго. Нужно немедля похмелиться. Иначе грохнусь где-нибудь между этажами и подохну насмерть.

Болело плечо. Видимо, мое тело, отягощенное гравитацией, уже успело где-то упасть. Блуждая по проходам и пролетам, я наконец добрался до Нинкиной комнаты. Но дверь оказалась закрытой и хозяйки не было. Не знаю, что меня так огорчило, но я сел прямо на пол возле двери и чуть не заплакал. Хотелось как-нибудь пожалеть себе, приободрить. Вспомнилась притча, недавно рассказанная мне знакомым журналистом:

Умер один человек, и стоит он в раю у реки Жизни. И ступает ему навстречу Господь. И приветствует почившего: “Блажен ты, ибо твое есть Царство Небесное!” — и лице сияет у любви олицетворенной. — “Благодарю Тебя, Господи!” — падает ниц человеку, но Любовь подымает его, говоря: “Видишь ты следы на песке вдоль реки Жизни?” — “Вижу, Господи”. — “Это — твой жизненный путь”. Смотрит человек на следы, чувствами переполняясь. “А видишь ли ты, — спрашивает Господь, — другие следы рядом?” — “Вижу”. — “А это — Мои следы, ибо ты просил Меня в мо-

литвах не оставлять тебя”. И идут они вдоль реки, встрече своей радуясь. Но вдруг мрачнеет человек, и никнет голова его. “Что огорчило тебя?” — спрашивает Благословенный. “Вот, Господи, Ты говоришь, что не оставлял меня, пока я жил”. — “Истинно так”. — “Но почему же, почему именно тогда, когда мне было особенно трудно на моем жизненном пути, именно в этот период вдоль реки я вижу только одни следы? Почему Ты оставлял меня в самые-самые трудные минуты?!” И улыбается ему в ответ Любовь: “Нет же, нет. В самые трудные твои минуты Я нес тебя на руках...”

Воспроизведенная в памяти притча придавала настроения. Я поднялся и увидел перед собою двухметрового пьяного детину с арбузом под мышкой. Голову этого сухопарого субчика знаменовала несвежая повязка. Промеж бинтовых складок пробивались давно не мытые волосы.

— Страдаем? — спросил он.

— Весьма.

— Деньги — не проблема. У меня сборник стихов вышел.

— Руслан меня зовут.

— Иннокентий Валаамский, — манерно представился детина и протянул мне руку. Арбуз выскользнул из-под мышки и глухо раскололся об пол.

— Катастрофа, — сказал я невыразительно.

— Фиг с ним. Не люблю сладкого, — ответил Кеша.

Как я потом узнал, Кеша был личностью весьма яркой. Редко кому удавалось видеть его трезвым. Даже в Литинститут он поступал в повседневном для себя состоянии, за что и не был принят, несмотря на вполне приличные баллы. Не желая мириться с притеснениями подобного трезвеннического толка, Кеша устроил сидячую голодовку у памятника Пушкину, чем не на шутку всполошил сановное писательское начальство. Кешу таскали по милициям, устрашали и задабривали, но наконец приняли-таки в институт. С тех пор Кеша стал головной болью обоих ректоров, осчастливленных возможностью занимать этот пост в период его учебы. Сидоров строго-настрога запретил охране пускать Кешу в общагу. Однако никакая охрана не могла сторожить все чердаки и пожарные лестницы. Есин прямо в институтском скверике выговорил Кеше все, что он о нем думает. Студент молча выслушал критику, а затем так же молча ударил ректора дипломатом по голове. Все это — в присутствии множества свидетелей. И только благодаря удивительно либеральному духу Литинститута и незлобивости Сергея Николаича сей проступок не имел удручающих для поэта Валаамского последствий.

Зарабатывал Кеша продажей лотерейных билетов. Когда-то он даже был женат на дрессировщице слонов. Циркачка, привыкшая к повиновению неразумной живности (а беспечного Кешу она наотрез отказывалась воспринимать как нечто разумное), всячески дискредитировала поэта. Например, заставляла стирать свое нижнее белье. “А что я мог

поделать? — оправдывался пред нами Кеша. — Она слонов укрощает, а слоны — большии-и-ие...”

Жил Кеша где попало. То ютился по общагам, то у очередных собутыльников. Деньги у него водились редко, и он то и дело занимал их у знакомых. Надо отметить, что и отдавал их Кеша исправно, хотя кредиты могли затянуться на существенный срок.

Одевался Кеша, говоря умным языком, контрарно, то есть или как оборванец, или как щеголь. Причем второе наблюдалось не часто и не надолго. Уже по окончании института он как-то заявился в студенческую столовку — выпить со старыми знакомыми. Этакий франт во всем новом — в лакированный туфлях и зеленом драповом пальто. Ну и набрался, как положено. А тут — обильные осадки вопреки всем прогнозам. Так что Кеша умудрился вывалиться во всех окрестных лужах. Долго еще летали над зданием Литинститута матерные благоговения в адрес ненастья...

Впрочем, обычно Кеша ходил в чем попало. А однажды выпросил у меня трусы, упирая на то, что его собственные сгнили прямо на нем. Правда это или нет — не знаю. Но выпрашивать что бы то ни было и у кого бы то ни было Кеша любил. Причем, похоже, не ради надобности, а ради одному ему известной игры...

В общем, Кеша говорит мне:

— Деньги — не проблема. Надо только сходить.

— Куда? — спрашиваю. — Ночь на дворе. К вьетнамцам, что ли?

— И ближе есть. Тут напротив хачик живет, водкой торгует круглосуточно.

Уже с водкой мы вернулись в мою комнату. Она была в удручающем состоянии. За день гулянки полы усеялись окурками, крошками, пустыми бутылками и какими-то фантиками. Возле ножки стола валялся раздавленный кусок сала. Рядом — помятый галстук в белый горошек. На одной из коек спал какой-то дедушка. Да и вообще, в комнате появились незнакомые личности. Один из них пел под гитару есенинское «Письмо матери».

— “... Будто кто-о-о-то мне в каба-а-ацкой драке садану-у-ул под сердце финский но-о-ож...” — подпевал Олежка Ядыкин. Он мотал головой и буквально плакал. Казалось невероятным, что еще днем Олег и слышать не хотел о Есенине.

Кстати, здесь была и Нинка.

— Куда ты делся? — спросила она, когда незнакомец окончил песню. — Ушел умываться — и нету. Я так и подумала, что лучше тебя здесь подождать.

— Да так, — говорю. — От “белочки” бегал...

— У нас тут *есть*, — ободряла меня Нинка. — Феликс Иванович принес, — указала она на спящего дедушку. Как выяснилось, спящий был каким-то писательским начальником. А приехал он в общагу в поиске жены. Молодая супружница не вынесла запоя благоверного и сбежала в казенный приют.

Нинка налила нам с Кешей “по штрафной”. Но тут проснулся Феликс Иванович и бурно возразил против расточительности: нечего, мол, всяких

пришельцев угощать. На что я возразил, что пришелец здесь именно он, а я в некотором роде его благодетель и покровитель. Недоразумение было исчерпано. Тем более что Кеша представил на обозрение только что купленные у хачика бутылки.

Востребовался тост, и я поднял стакан:

— Дорогие поселяне, я не капельмейстер, а поэтому скажу кратко. Вперед на битву с Бахусом! Пока морда гуинпленовой не станет...

Наконец-то я опохмелился. Стало значительно легче. Я даже почувствовал, как рассасываются мешки под глазами. Сказка про мертвую и живую воду — это явно про водку...

Потом мы пили еще. Действительность приобрела затейливые формы. Люди лишились очертаний и подобосущности. Казалось, мы плыли на заблудившемся корабле в поисках сбежавшего капитана...

Между тем Кеша рассказывал какую-то историю:

— А однажды мы пили с Ваней Новосельцевым. Сели с ним осенью, а закончили весной. Пили у него дома, на кухне. Баба евонная сбежала в Чебоксары. Закусывали солью: облизывали мизинец и макали в солонку. Так что если не пуд, то килограмм соли мы с ним точно съели. Но он, гад, взял мой носовой платок и выкинул в форточку. Взял — и выкинул. Вот так... — Кеша сделал махательное движение. — Представляете?..

— Богатые у тебя воспоминания остались от той зимы, — говорю.

Кто-то попросил, чтобы я спел. Но гитара меня не слушалась. Голос — тоже. Это был признак приближающегося разрыва с сознанием. Еще сто пятьдесят — и всё.

Для верности я выпил залпом целый стакан. Лег на койку и отвернулся к стене. Присутствующие не очень расстроились моим отрешением. Кеша продолжал свои реминисценции. По мере развития сюжета его речь обогащалась красочностью, но скудела смыслом. Наверно, итогом такой эволюции должна была быть полная оноματοпея...

А я, я лежал и молился. Это была мольба без адреса и надежды. Самоисповедание. Немой крик совести. Категорический императив...

Алкогольное безумие продолжалось аж до вторника. Кеша будил меня утром и молча протягивал стакан. Феликс Иванович в один из дней отпраивался по этажам искать жену. Вернулся минут через сорок — без жены, без туфель и без пиджака, но в полноте недоумения. Очередные потери окончательно лишили Феликса Ивановича всякого энтузиазма, и с тех пор он уже не вставал с койки, а только мычал и тянулся к стакану. В воскресенье за ним приехали ответственные люди и увезли во свояси, разыскав, кстати, все его вещи. Потом явилась комендантша Ирина и посоветовала немедленно привести комнату в порядок, ибо ответственные люди обещались пожаловаться на нас проректору. Мы перебрались к Нинке.

Нужно было постепенно урегулировать отношения между внутренним и внешним. Ко вторнику мы с Нинкой более или менее вернулись к благообразию. То есть водка сменилась сухим вином и пивом. Кеша не ожидал такого ослабления напора и ушел к ВЛКашникам — там какой-то “друг Платона Каратаева” праздновал рождение венка сонетов.

Вторник — день творческих семинаров. Пропускать было никак нельзя. Тем более, что в этот день на семинаре у Евгения Борисыча Рейна как раз обсуждалось Нинкино творчество.

Уже на входе станции «Дмитровская» нас нагнал Кеша и попросил тридцать рублей на пиво. Его состояние было близко к метафизическому.

— А где же твои деньги? — спрашиваю.

— Деньги есть — у меня сборник стихов вышел. Но я их схоронил в укромное место. Так что с собою нет.

— Ну так продай свой сборник стихов.

— А что, это мысль! — обрадовался Кеша. — Правда, книги я еще не получил, но вдруг получится...

Мы с Нинкой направились к кассе за жетонами. Кеша нашу добропорядочность осудил: нельзя, мол, так деньги на ветер; мол, великие и нищие писатели должны ездить в метро бесплатно.

— Каким образом? — удивились мы.

— По пальцу!.. — отвечивал поэт Валаамский.

Видя наше недоумение, Кеша направился к кабинке контролера. Но вместо того, чтобы предъявить женщине проездной, он выбросил вверх указательный палец. Жест явно напоминал американское “фак ю!”, хотя мог быть истолкован и другим образом. В смысле: я — гениальный и нищий поэт, иду один, метро от этого не обеднеет; к тому же и сам я похож на это самое “фак”, а потому не спорь со мной, женщина.

Контролерша, выпучив глаза, остановить Кешу не осмелилась. О том, чтобы мы повторили этот трюк, не могло быть и речи. Пришлось воспользоваться жетонами.

Вагон был переполнен. Нинку и меня оттеснили вправо. Кеша остался в зоне визуальной недостижимости. Только было слышно, как он приставал к пассажирам: “Женщина, втяните свой зад вовнутрь!.. Мужик, дай тридцать рублей на пиво... Женщина, вы как-нибудь перестройтесь, что ли. Избушка, избушка, повернись ко мне передом... Мужик, купи книгу, которой у меня нет...”

Вышли на «Чеховской». Кеша продолжал клянуть деньги. Около «Макдоналдса» пристал к престарелой парочке:

— Дайте тридцать рублей на пиво.

Парочка на ломаном языке высказалась, что плохо понимает русский.

— О! Иностранцы?.. — обрадовался Кеша. — Дайте тридцать долларов на пиво...

Наконец Кеше удалось выклянчить какие-то деньги. У самого института ему подала сердечная старушка целую горсть мелочи. Пересчитать ее Кеша не мог по причине близорукости и метафи-

зичности состояния. Он долго сидел около аудитории, а затем в порыве нервозности выбросил всю эту мелочь на лестницу. Думаю, у Кеши и без того были деньги. Просто он играл какую-то неведомую роль.

Я напросился на семинар к Рейну. Нинка читала свои стихи. Большинство из них было посвящено дочери. Потом остальные семинаристы объясняли Нинке, почему все, ею прочитанное, является откровенным дерьмом. Мэтр все это время молчал, а потом и вовсе задремал.

Стихи Нинкины мне понравились. Понравились именно своей простотой и искренностью. Искренностью, не переходящей в пошлость. Думаю, именно таких стихов очень не хватает современной поэзии.

Нинка была расстроена критикой. Мои утешения на нее не действовали. Было понятно, что сегодня она напьется.

К концу творческого семинара кто-то спросил у Рейна, кого он на сегодняшний день считает лучшим молодым поэтом России. Евгений Борисыч назвал несколько фамилий. Первыми по счету шли мои земляки Саша Леонтьев и Леня Шевченко. Помнится, я, Леня и Саша выпивали в Волгоградском Доме литераторов... Стоп! Это уже совсем другая история...

На третьем курсе я занимал в общежитии 317-ую комнату. По словам Нинки, в этой комнате некогда жил Николай Рубцов.

Уже с неделю я отдыхал от спиртного. Вовсю работал над своим историческим трудом. Как раз мне удалось разыскать фотокопии оригиналов кодекса Безы и рукописей Вади-Кумрана. Я сидел над переводом.

Большинство однокурсников, напротив, предпочитало расслабляться. Хотя Вавилов справедливо утверждал, что пить водку — тяжелый труд.

В 316-ой гуляла мужская группа. В 318-ой — женская. Точнее, женская не гуляла, а справляла проводы. В этот день отчислили Ольгу. Отчислили, невзирая на отличные оценки чуть ли не по всем предметам. С позорной формулировкой — “Творческая несостоятельность”. Более позорным было только отчисление за плагиат. Как раз незадолго до этого случая выгнали Маринку, умудрившуюся представить на творческий зачет стихи Василия Копылова. Уж лучше бы она вообще ничего не представляла. Творческий застой прощали, творческое воровство — никогда.

Ольга была на семинаре у Анашенкова. Борис Алексеевич бился с ней два с лишним года и наконец поднял вопрос об отчислении. “Это без толку,” говорил он. — Она не прозаик, а журналист. Я ей уже по-всякому объяснял, что такое художественная проза, а она не понимает. Последний срок дал — этим летом написать что-нибудь путное. А она *такое* написала, что вообще ни в какие ворота. Совершенно не чувствует слово. Вот что значит — любить фантастику. (Ольга не скрывала свою лю-

бовь к Стругацким.) Из таких писателей не получится”.

Деканат хлопотал за Ольгу, особый упор делался на успеваемости. “Ну и что, что она хорошо учится? — реагировал Анашенков. — Мне нужно, чтобы она умела писать. А если хорошо учится, то пусть переводится в университет на филфак. Или на журналистику. А в Литинституте ей делать нечего. Уж лучше бы она училась плохо, а писала хорошо. Тогда бы я сам за нее хлопотал. А раз писать не умеет и даже не понимает, о чем ей говорят, то и не научится”.

Вообще, отчисления за творческую несостоятельность случались редко. Ведь в некоторой степени это было признанием мэтра собственной ошибки. (Как ни крути, именно Анашенков набирал семинар и именно он усмотрел в Ольге какие-то задатки.) А признавать свои ошибки умели далеко не все, так что и бездари могли получить диплом.

Ольге в этом отношении не повезло. Борис Алексеич был категоричен. Видимо, особенно его расстраивала Ольгина любовь к Стругацким.

Кстати, фантастику в Литинституте жаловали ну разве что чуть лучше детективов. Упоминание тех же Стругацких в качестве литературы считалось плохим тоном и даже невежеством. Этот снобизм передавался и большинству студентов. А потому подозрительность к фантастике остается у меня и поныне.

Но если кто-то спросит, откуда у меня этот снобизм, причем отнюдь не подкрепленный явной гениальностью, позволяющей быть снисходительно-пренебрежительным, то я вряд ли смогу сразу ответить. Скажу больше, я сам же себе задам вопрос: «Роковые яйца», «Собачье сердце» или, наконец, «Мастер и Маргарита» — разве не фантастика? И разве — одновременно — не литература? Дальше — еще интересней. Куда отнести «Вия» и «Нос» незабвенного Николая Васильевича? И кто тогда писатель, если не Гоголь? И давайте без дрожи помолчим перед «Медным всадником», который и по сей день манит меня своей апокрифичностью. Мало русской классики — копнем и Запад. И не будем расстраиваться, что наша лопата наткнулась на остов Рабле и Свифта. Да чего уж там, давайте с начала “нового времени” — с Алигьери Данте... Или уж в самую античность: мифы — это фантастика аль нет? Да и куда, в конце концов, отнести Апокалипсис, ежели он описывает такие страсти, что это страшно думать, но отнюдь не соглашается со своей сказочностью, а претендует на реальность в будущем, то есть на, прости Господи, научную фантастику?..

Так что фантастика и литература — отнюдь не антиподы. Но откуда тогда этот снобизм? Быть может, причина — в зависти, а? Ведь, положи руку, есть чему завидовать. Фантасты организованны, их романы раскупаются. А мы, внефантасто-, внедетективно- и внемысленнооперники, — кому нужны мы? Нас не публикуют (вай-вай!). А коль публикуют, то выше миллионного тиража не жди. У нас

нет агентов и банковских счетов. Мы нищи, злы и воинственны, как чертополох. Наши книги не продаются с лотков, и даже вон тот в очках не знает наших имен. Мы не можем, ударив себя в межсисие, закричать в выпрезвители: “Да вы кого, бля, забрали?!. Я — великий писатель, моя фамилия — Яичница!..”

Мы ущербны и гордимся этим. (А что еще остается?) Непризнанность проявляется в нервозности, и мы, унимая пугающий собеседника тик, вещаем с придыханием на недосказанностях, какими бы мы были известными, если бы скатились до фантастики или детективов. (Да-да, я частенько рассказываю, как Аршак Тер-Маркарян предлагал писать мне детективы и даже рассказывал всю технологию столь простого способа хорошего заработка.) Ну только объясните мне, кто отделил литературу от фантастики или фантастику от литературы? Писатели-нефантасты или писатели-фантасты? Или издательства, ориентируясь на спрос? Кто построил эту стену и кто внутри гетто, а кто снаружи? И есть ли зависть при взгляде на эту стену?

Может быть, и есть. Лично я не буду вставать в позу по макушку обиженного подобным уличением: ну пусть, завидую. А еще у меня первый разряд по шахматам, хотя к делу это не относится. Как не относится мое отношение к фантастике к самому явлению подобной литературы как таковой. Просто я против самой стенки. Против деления писателей на фантастов и не-фантастов. На детективщиков и не-детективщиков. На сатириков и не-сатириков. Я — за деление на литературу и не-литературу. И всё. Но если какой-нибудь Пупик Васин опубликует свой роман «Галактика не сдаётся», начинающийся словами “Командир астролета Билл Рассел расчехлил свой лазерострел...” и заканчивающийся в том же духе, — опубликует только на том основании, что это — фантастика, то я снова встану в позу сноба, как бы смехотворно это ни казалось для окружающих, и буду шагать по хорошо изведанным мне граблям. Ладно...

Короче, я не пил уже неделю. Нинка, напротив, все это время была на взводе. Иногда заходила ко мне с бутылкой — я твердо отказывался.

— Выпей, — предлагала Нинка. — Ну хотя бы остограммысь.

— Нет, — говорю. — Ибо если я остограммысь, то потом опоросюсь. Сказал — не буду...

Но я знал — долго это продолжаться не может...

Проснулся я от настойчивого стука в дверь. Открываю и вижу Нинку в взбаламученном состоянии и с неприкуренной сигаретой в руке:

— Рубцов от тебя вышел? — спрашивает.

Я растерялся:

— Какой Рубцов?

— Что значит — какой?.. Коля Рубцов, поэт... Это же его комната, 317-ая...

Я пригляделся и понял:

— Николай Михайлович Рубцов, — говорю, — погиб в 1971 году. Что, Нин, “белочка” началась?

— Похоже на то, — согласилась Нинка. — А у тебя есть микстура?

У меня была бутылка в заглазнике. Нинка выпила и начала рассказывать:

— Представляешь, Руслан, просыпаюсь я и хочу закурить. А потом вспоминаю, что спички закончились. Выхожу на центральный проход — думаю, встречу кого. Смотрю — мужик у лифта. Лысенький такой, и лицо знакомое. Спрашиваю: “Мужчина, у вас спичек не будет?” А он молча раздвоился и пошел в разные стороны. И тут только я поняла, что это — Рубцов. Ну и к тебе побежала: если Рубцов — значит, из 317-ой вышел.

— Ты бы, Нин, завязала, что ли. Хотя бы на денек-два. А то “белочка” — это такой зверь...

— Так если б не “белочка” — давно бы тормознулась... Выключи свет — глазам больно.

Я щелкнул выключателем. Полумрак залил комнату. Фонарь через окно освещал стол. За дверью послышался стук одиноких шагов.

— Все порядочные люди уже давно повесились, — сказала Нинка. Она выпила еще и легла на свободную койку. Я лег на свою.

Неожиданно представил себя в петле: вишу, удушенный, и показываю окружающим вывалившийся язык. Окружающие скорбят, расстраиваются, а в моих закатившихся глазах немой упрек: “А где вы раньше были, о чем думали?.. Загубили талант!..”

Я принял сидячее положение и затряс головой. Привидится же такое... А ведь я в некоторой степени интеллектual. Свободно общаюсь с докторами наук. Порою даже консультирую. Доказал частные случаи теоремы Ферма. «Критику чистого разума» осилил. Гомера в оригинале читаю... Так почему же в мою голову лезет такое убожество? Или человек всегда остается беззащитным ребенком, обманывающим себя и других мнимой значимостью?..

Нинка приподнялась, налила еще.

— Знаешь, — говорит, — Игорь Вавилов — хороший парень. Но зачем он так много пьет?

Моя реакция была незамедлительной:

— А я? А как же я?..

Она выпила и снова налила. Потом продекларировала:

*Мое слово верное прозвучит!
Буду я, наверное, знаменит!
Мне поставят памятник на селе!
Буду я и каменный навеселе!..*

— Рубцов, кажется, — назвал я автора.

— Да, мой любимый Рубцов, — согласилась Нинка. — Спой, пожалуйста.

— Ночь уже, — попытался я отказаться. — Спят все.

— Спой. Тихонько. А то блики какие-то...

Я взял гитару, подстроил вторую струну и запел. Сумерки комнаты наполнились трогательностью:

*... Но однажды, прижатый к стене
Безобразьем, идущим по следу,*

*Словно филин, я вскрикну во сне,
И проснусь, и уйду, и уеду.
И пойду, выбиваясь из сил,
В тихий дом, занесенный метелью, —
Дом, которому я изменил
И отдался тоске и похмелью...
Поздно ночью откроется дверь:
“Бес там, что ли, кого-то попутал?”
У порога я встану, как зверь,
Захотевший любви и уюта...*

Мне неведомо, кто вложил гармонию в звуки и как рождается нежность из железа и дерева, но я старался не испортить рубцовский стих гитарой и голосом:

*... О, печальное свойство крови!
Не скажу ей: “Любимая, тише”.
Я скажу ей: “Ты громче реви!
Что-то плохо сегодня я слышу!..”*

Тревога сменилась усталостью. Ласково защемило в груди. Казалось, кто-то зажег невидимую лампаду. Не будучи спиритами, мы вызвали дух Рубцова, озаривший происходящее смыслом.

— Его убила женщина, — сказала Нинка, — в сущности, жена. Задушила. Руками, — Нинка показала даже не дрожащие, а трясущиеся руки...

Мы еще не знали тогда, что в 2001 году выйдет «Комсомолка» с сенсационным утверждением, что-де “поэта Рубцова никто не убивал”, что-де “симптомы смерти Рубцова никак не похожи на симптомы смерти от механической асфиксии” и что-де “Рубцов умер сам, от сердечного приступа, который спровоцировал хронический алкоголизм с поражениями сердца”... Далеко не все поверят этой ревизионистской статье: заявление — не официальное, новых обстоятельств открыто не будет. Будут просто переинтерпретированы данные судебно-медицинской экспертизы в свете новых “воспоминаний” Дербиной-Грановской. Но даже те, кто поверят, не смогут отрицать прямого и, выражаясь формальным языком, физического участия этой женщины в трагедии на улице Яшина...

— Сама же в милицию сдалась, — продолжала Нинка, — а на суде сказала, что Рубцов якобы над ней издевался, чуть ли не насиловал и спичками не прижигал...

— Хватит! — прервал я. — Не хочу слушать...

— Да-да, — согласилась Нинка. — Погиб поэт, а представлено так, что чуть ли не маньяк обезвредили... Читала я ее стихи, сборник вышел в Вельске, «Крушина»: “Лишь где-то в крещенские дни Запели прощальные хоры, И я у своей западни Смела все замки и затворы...”

Нинка всхлипнула и уткнулась лицом в подушку. А я почувствовал, что задыхаюсь. Какое уж тут “В горнице моей светло”. Я вышел, точнее выбежал из тяжелого сумрака. Спустился на улицу и сел прямо на землю, прислонившись к дереву.

Я был среди осени и ночи, был их частью, их начинкой. Вокруг было грустно и красиво. Нет, я не разглядывал эту красоту, а как-то сразу всю ее

понял. И еще я понял, что какое-то чудовище лишило все это окончательного смысла...

Напротив остановился милицейский УАЗик. Только этого мне и не хватало...

— Эй! — крикнули из кабины.

Я поднялся.

— А ну иди сюда!

Я подошел к машине. В УАЗике сидели двое — сержант-водитель и майор.

— Садись в машину! — сказал старшой.

Положение не из приятных. Документов с собою не было. Обычно в таких случаях забирали “до выяснения”. Я собрался мыслями:

— Товарищ майор, мне в машине плохо станет. Я — астматик. (Это было неправдой.) Понимаете, я студент, живу в этом общежитии. Готовился к экзаменам. А минут двадцать назад у меня приступ начался. Задыхаюсь. Вот и вышел на свежий воздух, пока не отпустит.

Майор пригляделся:

— Пил сегодня?

— Пил?.. — театрально удивился я. — Да вы что! Экзамены же...

— Документы есть?

— С собою — нет. Но могу вынести — они в комнате. А еще лучше: давайте пройдем со мной до вахтера — он подтвердит, что я живу в этом общежитии.

— А ты что, правда задыхаешься?

Я кивнул.

— Может, “скорую” вызвать?

— Спасибо, не надо. Уже лучше.

— Ну а если лучше, — строго сказал майор, — то иди к себе. Нечего под деревьями сидеть. А то ограбят или изобьют, а потом — милиция виновата...

Я вернулся в комнату. Нинка уже допила бутылку и спала. Я присел рядом, поправил ей волосы, прикрыл обнажившуюся грудь. Спи, мученица, на какое-то время водка заслонит тебя от всей этой

опустылости. Это — лагуна среди страданий. Отдых. Закулисье...

И вдруг я понял, что плачу. Видимо, уже тогда предчувствовал, что через год этой женщины не станет. Прибывший после очередной отсидки муж убьет ее в припадке пьянства и ревности...

Я не стеснялся своей слабости. И радовался, что не выпил. Значит, из глаз не водка льется. А то она любит брызнуть. Значит — слезы. Я их давно ждал, слез своих. Потому что не стыдно. Потому что это — честно...

Вранье, что мужики не плачут. Плачут. А если не плачут, так они и не мужики вовсе, а так... придорожники... А слезы — это хорошо. Это сродни молитве. Исповедь такая...

Меня передернуло. Слова! Снова эти слова, эта пошлость, этот тюль между мной и действительностью! Сколько можно быть себе адвокатом? Жалеть себя? А за что себя жалеть? Какая во мне такая неповторимость?.. Только животный страх, называемый волей к жизни. И эта треклятая жалость к себе, присущая всем мерзавцам...

За стеной послышался шум — в 316-ой начали опохмеляться. Всё, понял я, напьюсь! Пора гасить этот огарок трезвости. Разум требует резигнации, погружения в нирвану. Наивно бегать от мыслей. Их нужно топить, как кутят. В водке. Чтобы не скулили...

Я постучался в соседнюю комнату. Открыл Игорь Вавилов.

— Нальешь? — спрашиваю.

— Ты же вроде в завязке.

— И не такие узлы развязывали!

— Тогда с тебя тост, — сказал Игорь, наливая.

Я принял из его рук стакан, ощутил привычный тошнотворный запах. Помедлил, предвкушая исход и освобождение. А потом сказал:

— Пьянство — это победа разума над волей...